

С. Н. Сергеев-Ценский

**Обреченные на гибель
(Преображение России - 1)**

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

С. Н. Сергеев-Ценский

Обреченные на гибель (Преображение России - 1) / С. Н. Сергеев-Ценский – М.: Книга по Требованию, 2011. – 258 с.

ISBN 978-5-4241-1921-7

Историко-революционная эпопея «Преображение России» — главный творческий труд Сергея Николаевича Сергеева-Ценского (1875—1958), монументальное произведение, которое было задумано художником еще в начале его литературной деятельности.

"Преображение России" включает в себя двенадцать романов и три повести, являющиеся совершенно самостоятельными произведениями, объединенными общим названием.

ISBN 978-5-4241-1921-7

© Издание на русском языке, оформление, « YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, « Книга по Требованию», 2011

Сергеев-Ценский Сергей
Обреченные на гибель
(Преображение России - 1)

Сергей Николаевич СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИИ
Эпопея
ОБРЕЧЕННЫЕ НА ГИБЕЛЬ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
СВЯТОЙ ДОКТОР

Придет время, и самое это слово "святой" забудется и исчезнет, как все другие слова, вышедшие из обихода в верхах общества, перебравшиеся из столиц и больших городов в глухие углы и там угасающие в тиши.

Но тот, кого называли святым доктором, военный врач Иван Васильич Худoley, хотя и знал, что так именно его называли, - не понимал, в чем его святость.

Он жил на скромной улице Гоголя в собственном доме в четыре окна на улицу, в том городе*, на вокзале которого однажды в конце декабря архитектор Алексей Иванович Дивеев стрелял в Илью Лепетова, бывшего любовника своей покойной жены.

* Город этот - Симферополь. (Прим. автора.)

Впрочем, нельзя было сказать о Худoleyе, что жил он в своем доме на улице Гоголя: он только ночевал там, и то не всегда, а жил в городе, у больных.

Это был хрупкий на вид человек, бледный, длинноликий, с несколько ущемленным и узким носом и карими глазами; усы невнятные пепельные и небольшая русая борода, длинные волосы и пробор посередине головы - уже одно это при первом взгляде на него напоминало Христа на иконах, и странно - совсем не мешал этому впечатлению военный мундир.

Как полковой врач пехотного полка, он лечил солдат, которым по роду их занятий никаких болезней не полагалось, кроме трахомы, но ни у кого из врачей города на было такой практики, как у него, и приглашали его ко всевозможным больным, точно не было в городе специалистов; все знали за ним несомненный и большой талант, редкий даже и у врачей: жалость.

Это был природный его талант, и когда он был еще студентом, он женился на некрасивой девушке-бонне отнюдь не по любви, а только из жалости, и теперь имел от нее трех сыновей - старший уже гимназист восьмого класса - и дочь Елю.

В доме жил еще денщик - Кубрик Фома, ходивший обедать в роту, и с утра подъезжал к дому месячный извозчик Силантий, старик недоброго вида: спина сутулая, кудлатая голова в плечи, взгляд запавших маленьких глаз волчий. Он каждый день видел, как с утра, побывав в полковом околотке, отправлялся доктор по больным, которые побогаче, и потом заезжал в аптеку и на базар. Из аптеки выносил пузырьки и пакеты с лекарствами, на базаре покупал то провизию, то железную ванну, и все это вез не к себе домой, а к другим больным, которые беднее. От денщика Фомы знал Силантий, что не привозит доктор ни копейки жене, кроме жалованья из полка, и - мужик хозяйственный, обстоятельный, скопидом и тоже большой семьянин, - и хотел понять и не мог понять доктора; здоровался с ним по утрам без подобострастия и облегченно прощался по вечерам.

Но однажды, свободный от разъездов с доктором, стал он в полночь около

театра, и из театра вышли и наняли его офицер и молоденькая совсем барышня лет шестнадцати. Офицер провожал барышню домой и назвал как раз дом доктора Худолея на тихой улице Гоголя. Силантий, даже не оборачиваясь назад, догадался, что везет дочь своего доктора, и рад был втайне нехорошей радостью, что она его не узнала, и еще глубже утопил в плечах тяжелую кудлатую голову. Но слушал чутко и слышал звонкие молодые поцелуи и торопливые ночные слова и, притворяясь полусонным, не кашлял даже по-стариковски, сдерживался, чтобы не помешать...

А у ворот так знакомого дома в четыре окна - при тусклой луне видно было - сидел кто-то, и когда подъехали, он встал, и Силантий узнал старшего сына доктора - Володю, длинного и тонкого, как отец, и когда выпрыгнула из фазтона барышня, Володя ударил ее по щеке и крикнул:

- Шлюха!.. Гадина!.. Дрянь!.. - Барышня взвизгнула, а он еще раз ударил.

Офицер, еще сидевший в фазтоне, поспешно постучал в сутулую спину его, Силантия: "Назад!.. Поезжай назад!.." И, повернув лошадей, стегнул он их кнутом с большим сердцем и долго, тарыхтя колесами по мостовой, разрешенно и злобно кашлял и усмехался криво.

А на другой день (в воскресенье), когда приходилось вечером получить с Худолея, а тот забыл оставить на это деньги, как это часто случилось и раньше, Силантий в первый раз укоризненно и внушительно сказал доктору:

- За-бы-ли?.. Та-ак!.. Ну, а ведь они же, кони, не забывают, что им вас возить каждый день надоть?.. Им же, например, овса надоть купить и мне с семейством, к примеру, требуху свою надоть чем ни то набить... Гм... А вы за-бы-ли!.. На очень многое это вы, стало быть, память хорошую имеете, а что очень малое, про то забываете!

- Ну, я завтра... Я тебе завтра дам... Ты напомни завтра, - сказал было Иван Васильич.

Но Силантий знал, что теперь придется доктору просить деньги у своей жены, а у той тоже может не быть, и потому он веско и не спеша доказывал, что деньги ему нужны непременно сейчас, что больше седоков у него никаких не бывает, только он, доктор, что корысти для него никакой нет, что он месячный, а езды много.

Вечер этот был ясный, хотя и поздний; Иван Васильич стоял против Силантия и говорил ему:

- Неужели нельзя до завтра?.. Никак нельзя?

- Хотите, чтоб кони без корму посдыхали?.. Дома возьмите, если с собой не привезли!

- Дома нет.

- Ну, а вы ж своему дому хозяин или кто?.. Что ж у вас в доме залежной какой десятки нету?

- Нету.

- Стало быть, что свое, то вас не касается, а только что чужое?

Иван Васильич посмотрел в его волчьи исподлобья глаза своими кроткими, льющими жалость, расстегнул белые пуговицы шинели, снял ее и подал Силантию.

- Вот, возьми.

- Зачем это? - отстранился Силантий.

- Продай, - тебе овса дадут.

Несколько мгновений стояли они так друг против друга, и Силантий, сказавши, наконец, твердо: "Может, дадут, а может, и не дадут!" - взял шинель обеими руками, положил на сиденье фаэтона, сел на козлы, перебрал вожжи...

Добавил:

- Гм... Чудное дело!.. Десятки в доме нет!..

И поехал, не простившись.

Но на другой день явился раньше, чем всегда, и сам принес денщику на кухню аккуратно сложенную шинель, прося повесить ее на вешалку так, чтобы не заметил доктор.

И еще молчаливее и нахмуренней, чем всегда, возил его в этот день по больным, на базар и в аптеку.

Зинаида Ефимовна, жена Худолея, вела хозяйство, ежедневно сокрушаясь, охая, ломая руки. Это была приземистая широкая дама, всегда нескладно одетая, трагически крикливая и в постоянных ссорах с детьми. Ведя хозяйство только на жалованье мужа, она сумела как-то, неожиданно для всех, купить домик на скромной улице Гоголя и на другой год в глубине двора построить флигель для мальчиков.

Зато даже хлеба купить не доверяла она денщику; зато базарные торговки часто видели эту некрасивую приземистую даму, стоявшую перед битой птицей и говорившую умиленно:

- Ах, уточки, уточки!.. Ка-ки-е уточки!.. Как бы хотелось скушать уточки!..

- Купите!.. Возьмите, мадам!.. Вот у меня аж-таки жирные, - само сало! - накидывались торговки. - Шесть гривен!

- Так до-ро-го?.. Да бог с вами!.. Разве ж я могу платить так дорого?..

И уходила поспешно, чтобы так же уныло стоять перед всем прочим, что было на базаре, и чтобы вернуться домой с покупками на двугривенный.

И дети жили впроголодь, иногда на лето уезжая гостить к своим товарищам и оттуда посылая домой скупые открытки, из которых было видно, что их хорошо кормят и что им весело.

Бонной Зинаида Ефимовна была недолго, не более трех лет, но за это короткое время на всю остальную жизнь уже для своих собственных детей она научилась быть не матерью, а только бонной. Дети эти шалили, не слушались, дурно себя вели, и нужно было во что бы ни стало добиться, чтобы они слушались, не шалили, были приличны.

И в то время, как сам Иван Васильич, точно заведенная и пушенная опытной, но строгой рукой машина жалости к чужим и дальним, аккуратно каждый день уезжал на практику, и даже не дома, а в центре города при одной из аптек во дворе был его приемный кабинет, - Зинаида Ефимовна воспитывала детей.

Конечно, он проникал к ним от товарищей, этот дух своеволия, защититься от него было нельзя, можно было только бороться с ним, и она боролась упорно, так же, как вела хозяйство и копила, и если у мужа ее был талант жалости, у нее был настоящий талант отчаянья, и одно только короткое "ах!" могла произносить она с тысячью разных оттенков и в круглые серые выпуклые глаза под черными бровями вливать столько безысходности и ужаса, что дети поддавались и верили.

Так, однажды, когда самый младший из детей, Вася, когда было ему всего

десять лет, расшалившись, разбил белый абажур висячей лампы, она убедила остальных, что он совсем не ее сын, а кухарки, которая у них жила когда-то и умерла, и если они не помнят этой кухарки, то потому, что были еще очень малы тогда. И все поверили. И Еля, глядя на Васю, начала уже фыркать и пожимать плечиком, а когда в это время в отсутствие матери зашла в гости какая-то новая знакомая ее, никогда раньше не бывавшая в доме, Еля так и представила ей Васю:

- А это - сын нашей кухарки.

- Вот какая добрая ваша мама; позволяет ему играть с вами, отозвалась гостья и послала его в лавочку купить папирос и дала ему пятак на чай.

Однажды Еля, проснувшись ночью, увидела мать, одиноко сидевшую перед стаканом холодного чаю, простоволосую, рыхлую, скорбно задумчивую, и, пожалев ее, подошла тихо сзади, сказала:

- Мама!

Но не вовремя пожалела... Та вздрогнула от испуга и в непритворном ужасе закричала на целый дом, что дрянная девчонка хотела, чтобы с нею сделался удар...

- А-а, мерзавка!.. Ты хотела, чтобы я издохла!.. - кричала и била ее остервенело стоптанной туфлей.

А на другой день все мальчики как на зачумленную смотрели на Елю.

В село Чамганы за двенадцать верст, где в рощицах по балкам водилась дичь, хотел было пойти с товарищами как-то Володя и уж достал охотничье ружье, и патроны, и ягдташ, но это было - своеволие, и Зинаида Ефимовна стала в дверях:

- Никуда ты не пойдешь! Не пуцу!

- Ну как же можно, мама!.. Ведь я же дал слово!.. Ведь меня же ждут! - пробовал выпроситься Володя.

- Не пуцу! - и мутно-серые глаза на рыхлом лице налились безысходной тоской.

- Я пойду, мама! - двинулся было Володя, но она, подавшись, задела слабый на ножки стол, стоявший в прихожей, и загремел с него на пол самовар, а она выскочила на улицу и стала кричать истерично:

- А-ах!.. А-ах!.. Ах, убивает!.. Родной сын убивает!.. Уби-ва-ет!.. А-ах!..

Сбежался народ. Сконфуженный Володя забился во флигель и спрятал ружье... И долго потом другие трое смотрели на него подозрительно, а мать, приседая и откачивая голову вбок, говорила торжествующе:

- А что? Пошел в Чамганы?.. Пошел в Чамганы?..

Однажды их обокрали в то время, когда отца, как всегда, не было дома, денщик был в роте, а мать с тремя детьми пошла в гости к очень хлебосольным знакомым. Дома оставался только средний из братьев, Коля, к которому во флигель пришел его товарищ Лучков, бывший гимназист-одноклассник.

Когда вернулись из гостей, нашли открытым шкаф, и из него были унесены кое-какие золотые вещицы - брошки, серьги с камешками, медальон...

- Это - Колька!.. Это Колька со своим Лучковым! - кричала Зинаида Ефимовна.

Однако дом был заперт, и вор явно проник в окно со двора, и окно это было в стороне, противоположной от флигеля, и сколько ни искали чего-нибудь во

флигеле у Коли, - не нашли.

Зато Еля в общей суматохе подняла с полу в доме откатившееся в угол и не замеченное ворами кольцо, продала его и купила пирожных и открытки с картинками.

Но вскоре это открылось, и Зинаида Ефимовна, с лицом, полным отчаяния, кричала:

- Воровка! Воровка! Мерзавка!

И била ее по щекам пачкой открыток с картинками.

И долго другие дети называли ее воровкой.

Еля была похожа на отца, - такая же длинноликая, бледная, с карими глазами, - и еще на отца похож был старший - Володя, а двое других - на мать. Но ни дара отчаянья не усвоили похожие на мать, ни дара жалости похожие на отца. А у того, который свел дружбу а Лучковым, стали появляться разные запрещенные книжки, и его уволили из шестого класса, и когда сам Иван Васильич поехал просить директора, чтобы приняли его Колю обратно, директор - важный лысый старец с седыми кудельками около мясистых красных ушей - сделал скорбное лицо, развел руками и сказал тихо:

- Я вас очень уважаю, доктор, но простите мне великодушно, в своей гимназии держать вашего сына не решаюсь: боюсь!.. Я вам это искренне говорю: боюсь!

Даже за белую пуговицу его мундира подержал и в глаза его, источающие жалость, поглядел сочувственно и проникновенно.

Коля был плотнее других детей Ивана Васильича, любил гимнастику на приборах, но не играл в городки, так как при этой игре работают мускулы одной только правой руки, левая же барствует, а в человеческом теле должны, как и в человеческом обществе, одинаково работать все члены.

Ему шел уже семнадцатый год, когда однажды, поздно вернувшись голодный домой с какого-то тайного собрания (он уже числился в партии), забрался он в шкаф, где - знал - стояла рисовая бабка, оставшаяся от обеда, но со свечкой в руках появилась сзади его мать, схватила его за шиворот:

- Где шляешься, мерзавец, там и жри!

А когда он оттолкнул ее, она выскочила на улицу, крича:

- Спасите!.. Караул!.. Спасите от собственного сына!..

И спасать прибежали. Явился даже дежуривший на углу полицейский, которому заявила она, что сын ее - ярый революционер и не арестовать его немедленно он даже не смеет.

Во флигеле сделали обыск, и на рассвете Коля был отправлен в тюрьму.

Тогда это событие в доме доктора Худолея очень взволновало город. Правда была в том, что Ивана Васильича в эту ночь не было дома: он был приглашен на трудные роды, хотя и без него там уже был акушер, - но в городе сочинили, что он ничего не имел против того, чтобы сын его посидел в тюрьме, что тюрьма в столь молодые годы только полезна для будущего борца за народное благо: она научит его непримиримости и закалит его дух; говорили, что, прощаясь со своим сыном, он именно это и сказал в присутствии полицейских, и это особенно умиляло всех почитателей святого доктора, и, совершенно неизвестно почему, в связи с этим стали говорить, что мать Худолея - еврейка, и даже больше того: недавно приехала из Гомеля навестить своего сына.

И вскоре одна старая простая еврейка в теплой клетчатой зеленой шали, морщинистая, но с ярко горящими молодым любопытством глазами появилась в доме на тихой улице Гоголя и спрашивала денщика Фому: где же она, эта почтенная еврейка из Гомеля, счастливая мать изумительного сына, лучшего друга всех бедных?

Фома Кубрик был в это утро один дома, - Зинаида Ефимовна на базаре, дети - в гимназии, - и, пока он, соображающий туго и медленно, понял, что эта в зеленом платке ищет чью-то мамашу, гостья успела уже проникнуть из передней в гостиную, а пока он обстоятельно ответил было, что никаких приезжих мамаш пока, - бог миловал! - у них нет, она открыла уже двери в столовую и обшарила ее глазами... Оторопелый Фома, коротенький и черноголовый, еще только говорил, подвигаясь за ней: "Куда же ты, бабка?" - а она уже стучала сухим скрюченным пальцем в притворенные двери спальни и говорила что-то громко и отчетливо по-еврейски.

- Да ты ж куды ж это? - осмелел Фома. - Тебе ж чего ж это, скажи толком?

- Ну-у, зачем же вы ее прячете? - покачала головой старуха. - Когда уже всем известно, что она уж три дня, как приехала из Гомеля!

И, повернув ручку двери, просовывала голову в спальню. Спальня, правда, была пуста, однако видна была еще одна дверь, тоже прикрытая: она могла быть за нею, эта почтенная женщина.

- Русским языком тебе говорю: никого нет теперь, кроме меня! убеждал Фома.

Но старуха глядела на него явно недоверчиво и с укоризной, и когда, выходя из дома, заметила флигель во дворе, направилась туда бодрим молодым шагом.

В тот вечер, когда Еля, уйдя в театр с подругами, вернулась на извозчике с офицером, даже и не их полка, с которым и познакомилась-то она только в театре, - Володя так горячо принял это к сердцу, что даже Зинаиду Ефимовну напугал, и она не спала целую ночь от яркого ужаса: не ревнует ли он сестру потому, что, может быть, любит ее не так, как сестру?.. И, может быть, давно уже это между ними, а она не знает?..

Едва дождалась она утра, но утром Еля не вышла из своей комнаты, отказавшись от чая, а Володя, бледный, с воспаленными глазами, ходил около дверей ее комнаты и повторял:

- Шлюха!.. Гадина!.. Дрянь!..

И, окончательно поверивши в свои ночные ужасы, Зинаида Ефимовна схватила его за руку и потащила в гостиную:

- Сейчас же мне все говори!.. Ты что к ней пристаешь, говори!.. Все говори!..

И горячо сказал Володя:

- Мама, ты и не знаешь еще, какая она дрянь!.. Ведь она бывает даже у кокоток в доме Ставраки!..

Две кокотки занимали красивый особнячок через два квартала от них, ближе к центру, и Еля действительно свела с ними знакомство просто из великого любопытства и два раза была у них в комнатах, украшенных азбукой из слетшихся в самых рискованных позах голых мужских и женских тел... Тигровые шкуры около оттоманки, пушистые ковры, всюду флаконы духов и пудреницы на шифоньерках, цветы в граненых вазах, шелка и меха... и, пробравшись к кокоткам

тайно, Еля не могла уж скрыть своего восхищения, проговорилась...

- Да!.. Два раза была она у них, мама!.. Ты подумай только!.. И вот результат!..

Однако для Зинаиды Ефимовны этот ужас был все-таки гораздо меньше того, какой она придумала ночью, и потому она была снисходительнее к дочери, чем Володя, только реже стала пускать ее к подругам.

Но обстановка маленького особняка, - соблазнительная, опьяняющая, волнуемая, - прочно залегла в память Ели, и когда на уроке в день своих именин старый гимназический словесник вздумал побеседовать с ученицами о том, кем им хотелось бы быть со временем, когда окончат они гимназию и выйдут в жизнь, и одна заявляла, что хотела бы быть учительницей, другая врачом, третья - художницей, четвертая - артисткой, Еля, выждав свою очередь, спокойно подняла, вздернула голову и отчетливо на весь класс сказала:

- А я хотела бы быть кокеткой!

Старый педагог так был ошеломлен этим и так растерялся, что пробормотал только:

- Собственно говоря, неудачно: хотела, конечно, выразиться: "кокеткой", а подвернулось другое словцо...

Спасительный звонок покрыл смущение... Начальнице не сказал об этом словесник, а классной дамы случайно не было в классе.

Гимназическое начальство не узнало об этом, но о том, что одна из учениц заявила в классе, что хотела бы стать кокеткой, усердно говорили в городе, то подмигивая, то хихикая, то улыбаясь томно, то ахая, то покачивая головами... Однако (маленькая странность) фамилии этой "одной из учениц" не называли.

Володя обладал одною чертою характера, которая напоминала в нем мать: скупостью. Но это была не скупость в денежных расчетах (никогда не было денег у Володи), это была скупость в трате собственных сил.

- Кто так делает? Никто так не делает!.. - часто говорил он сестре или братьям, если хотел доказать, что они глупы. И у него была врожденная, чисто женская осмотрительность, сжимаемость, вогнутость, откатка от всяких бурных увлечений, и часто в разговоре даже со сверстниками он употреблял слова: "я опасуюсь..."

И воротничок, выступавший из-за ворота его серой гимназической блузы, всегда был безупречно чист, и очень аккуратно всегда сидела на нем эта блуза, и подолгу занимался он умыванием и расчесыванием таких же, как у отца, слегка вьющихся русых волос; и никогда не позволял он себе в классе ковырять парту ножичком или пачкать ее начерниленным квачом... И за все это и многое другое подобное товарищи звали его "Маркизом".

А младшему из братьев, Васе, существу пока низенькому, скуластому, с насмешливыми, всеотрицающими глазами, меньше, чем кому-либо чужому, был понятен "Маркиз".

Этот любил пока только одну кутерьму. Зимой - снежки, и чтобы непременно закатывать в снежки камни; летом - чехарду с уличными мальчишками; осенью (а осень здесь всегда была ясная и сухая) - те самые городки, которых не одобрял за их однобокость Коля; весной - раскрашенные огромные бумажные змеи с трещетками, пугающими лошадей... В классах часто дрался, лез на всякого напролом, не отставал, сколько его ни били, и потому был непобедим, как бычий

овод.

Если бы его спросили, кем бы он хотел быть, он подумал бы несколько мгновений и вполне искренне сказал бы: никем. Заботясь о приличиях, часто достучал ему Володя, делая брезгливое лицо, но когда хватал его за плечи, чтобы остановиться, тот вырывался, отбегал и кричал удивленно: "Тоже еще, Маркиз!.." Другого брата, Колю, он начал было уважать, когда его уволили из гимназии и началась для него свобода, но все уважение к нему пропало, когда тот вздумал таинственно подсовывать ему какие-то тощие, замусоленные книжонки. "Читай их, - сказал он, - сам, босявка!" Он вообще не любил книг; он любил ходить по земле колесом или мчаться навстречу каждому, скосив глаза и раздувая ноздри.

Даже Еля пыталась часто останавливать его криком:

- Что ты несешься, как зверь лесной, дикий!..

Но был он постоянной причиной ее слез, и долго не могла она забыть такой его выходки. Ей лет в двенадцать очень понравились веснушки одной подруги, Ванды Бельзеецкой, и из зависти к этим веснушкам она сепией посадила себе на лицо такие же точно, просидев над этим в укромном углу перед зеркалом целый час перед тем, как идти спать. Утром думала прийти в класс и удивить Бельзеецкую: "Смотри, у меня появились точь-в-точь такие же веснушки!" Но подсмотрел Вася и утер ей, подкравшись сзади, лицо щедро намоченным полотенцем... Даже в гимназию не пошла в этот день вся изрыдавшаяся Еля.

Так как все четверо молодых Худолеев родились в этом городе, то у всех четверых было общее детское, что на всю жизнь потом у всякого по-своему, но очень прочно отливает и строит остов души.

Например, запах белых акаций весной, которого совсем не знают северяне... Весною, в мае, на улицах и в садах, всюду в городе стоял этот запах сладкий, пряный и густоты необычайной, так что заметно было, что сквозь него проталкиваешься, протискиваешься, чуть ли не продираешься даже с трудом, когда идешь по вечерним нагретым тротуарам, и сыплется на тебя вниз увядающие нежные белые венчики, похожие на мотыльков. Это был волнующий запах; он завораживал, околдовывал, спаивал, властно правил весенними токами тел...

А в городском сквере, широко развернувшемся как раз посреди города, памятник Екатерине II, при которой был завоеван весь этот край, стоял темно-пыльно-зеленый, бронзовый, очень странный уже потому, что был этот памятник женщине (единственной женщине, удостоившейся памятников в России), внизу под которой, на пьедестале толпились боевые генералы ее времени - в париках и со звездами на мундирах... И не к боевым генералам этим, а именно к женщине бронзовой и важной так шли пышные клумбы цветов кругом с купами огромно-листных бананов, мясистых алоэ и ярко-красных канн. Ясно было, что все эти генералы, жавшиеся у ног женщины, были так, между прочим, а главным здесь была женщина, потому что для кого же иного разлилось кругом это цветочное озеро?..

Не для губернаторского же дома, стоявшего напротив и выкрашенного казенной желтой охрой... И у дежуривших здесь околоточных был слишком суровый и деловой вид, как у всех людей, принужденных мучиться над тяжелыми государственными вопросами, и, конечно же, им было не до цветов.

Женский суетливо стрекочущий говор был здесь на улицах от массы смуглых южан: греков, армян, евреев, татар, цыган, караимов; по-женски высоко и тонко